

אפרים באוּח

Эфраим Баух



«Перстами руки человеческой...»

Феллини – Венеция – Фуко

Книга-Сефер, 2018

© Эфраим Баух, 2018

Эфраим Баух

**«Перстами руки
человеческой...».**

Феллини – Венеция – Фуко

«Книга-Сэфер»

2018

Баух Э.

«Перстами руки человеческой...». Феллини – Венеция – Фуко / Э. Баух — «Книга-Сэфер», 2018

ISBN 978-965-7288-24-7-2

В новой книге эссе, Эфраим Баух с присущими ему мудростью, эрудицией, мастерством продолжает размышлять и вспоминать. Какова цена слову, как ответственен художник, писатель, мыслитель за то, что создается «перстами рук...»... Венецианское гетто, наследие великого Феллини, философские изыскания Фуко – Эфраим Баух приглашает взглянуть на современность с этих трех точек отсчета. Истинное наслаждение получит читатель, следя за свободным течением мысли и фразы крупнейшего израильского русского писателя Эфраима Бауха.

ISBN 978-965-7288-24-7-2

© Баух Э., 2018
© Книга-Сэфер, 2018

Содержание

Феномен ли это – гетто?	6
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Эфраим Баух

«Перстами руки человеческой...».

Феллини – Венеция – Фуко

אפרים באוך



© Эфраим Баух, 2018

Феномен ли это – гетто?

Джетто нуово. Темпло исраэлико: синагога. О них не упоминают в путеводителях по Венеции.

Гетто: сочетание скученности жилья и пустых улиц, дворов, прочности дряхлых стен и эфемерности, словно бы принесенной или, точнее, нанесенной легким бризом от подножий Синая, такой затейливой и хрупкой, как венецианское стекло. Евреев эта эфемерность влекла столетиями.

Разве не на эфемерном, казалось бы, исчезающем на ветру человеке построено всё грандиозное здание еврейского Бытия, Исхода, жизни в тысячелетиях?

Эфемерность эта трагична, если ты внутри нее.

Смотришь на картину Брюллова «Последний день Помпеи» и ощущаешь себя в эпицентре трагедии. Полотно это входит в сознание картиной конца мира. А между тем, плывя на корабле, видишь извержение Везувия, как весьма локальное явление. За несколько километров и вовсе спокойно и безопасно. Вся трагедия воспринимается, как дымные клубы над горой да отдаленный грохот, подобный раскатам грома.

Так соседние народы наблюдали за борьбой Масады с Римом.

Так Европа с равнодушным любопытством следила за уничтожением шести миллионов евреев а ныне следит за борьбой Израиля.

Так в космосе кто-то увидит гибель нашей цивилизации, как вспышку в пространстве.

Строки Марины Цветаевой из «Поэмы Конца» были растворены вечным присутствием в тесном воздухе пространства заключения и злключения, первой черте оседлости, растекаясь вдаль – над переулками этого дьявольски обольстительного и, несомненно, мстительного города.

*За городом! Понимаешь? За!
Вне! Перешед вал!
Жизнь это место, где жить нельзя:
Ев-рейский квартал...*

*Так недостойнее ль во сто крат
Стать Вечным Жидом?
Ибо для каждого, кто не гад,
Ев-рейский погром —*

Город меня очаровывает с первого мгновения, несмотря на то, что попадаю туда в разгар очередного ненавистного мне маскарада.

Хотя, в общем-то, не портит мне настроения ряженный и возбужденный, как мартовский кот, клоун, выкрикивающий странные реплики, в определенной степени, пусть косвенно, касающиеся и меня, над гогочущим потоком масок, пересекающих площадь Святого Марка, после того, как с нее схлынули затопившие ее с ночи воды моря.

Так проходит эфемерная слава мирская над кромкой морской. Парадом.

Берег пустынен. Весь люд, в любое время дня и ночи спящий вдоль моря, втянуло маскарадом, рев которого доносит издалека.

Из окон какого-то дворца обдает музыкой, негромко, тревожно, до обмирания сердца: "Токката и fuga" Баха.

Меня объемлет безмолвие, очищает синий фильтр морских пространств.

И музыка подобна ручью в бликах солнца, несущему весь сор жизни, еще более высвечивающему зеленый выдох дерева.

Впервые в жизни меня отчетливо и крепко держит осязаемое чувство пребывания на грани сна и бдения. Так ощущает себя пловец на дальние дистанции, перестающий воспринимать разницу между воздушной и водной средой, живущий по закону плавания в двух этих средах, не боясь ненароком захлебнуться и пойти на дно.

Будит меня одинокий голос, пропадающий в шуме моря. Человек обращен вдаль, кличет кого-то. Из обрывков разговоров проходящих гуляк смутно проясняется, что у него утонул сын, но тело его не нашли, вот он и сошел с ума – кличет, уверенный, что сын его в море, живет и резвится с дельфинами.

Парни берутся с парусниками у берега. Разноцветные паруса трепещут на ветру крыльями бабочек. Среди них тонкая, гибкая девица, чем-то смахивающая на юную балерину. Потягивается, изгибаясь ленивым движением, подставляя лицо выглянувшему из-за облаков солнцу. И в этом непроизвольно раскрывшем себя мгновении гибкости и лени – вырвавшийся наружу краешек истинной жизни, вот уже столько часов забываемой ревом этого шумливо-глумливого маскарада, в котором все безоглядно веселятся, чтобы не столкнуться с пристальным взглядом Судьбы.

Сидя в безлюдном месте у лагуны, я слежу за летучими парусами яхт, непонятно как движущихся по замершим водам. Беру лодку, выгребая до середины лагуны лежу, глядя в небо, пытаюсь определить – куда заносит лодку. И каждый раз, подняв голову, в первое мгновение не могу понять, где нахожусь, и вообще где верх, где низ.

Не помню, и это на меня не похоже, чтобы в какой-либо точке срединной или северной Европы я слышал "Марш" Мейербера, но помню, что это происходит здесь, ранним утром. За окнами проходит оркестр, а я лежу в постели с открытыми глазами, солнце движется пятнами по стене, ветерок колышет занавеску, а марш льется каким-то сверкающим входом в высоты ожидающей меня жизни, таким невыносимым – на грани спазма, сжимающего горло – счастьем.

Это мгновение врезается в мою память, и с этих пор я не могу спокойно слушать звуки этого марша, созданного еврейским гением, познавшим тайны немецкого духа.

Венеция пахнет женщиной.

После посещения Венеции и затем, Флоренции, для меня полотна, собранные в музеях этих городов, – как первичный омут творчества, воспоминания о райских мгновениях.

По каналу Гранде скользит одинокая гондола. Еще и еще раз поражает эта узкая, хищно длинная, дьявольски женственная, сладостно убаюкивающая форма обычной лодки, изгибающаяся краями вверх податливостью женщины, охваченной страстью. Поражает уносящий в дрему, в незащитность ее бесшумный акулий бег по воде. Поражает это незнакомое существо – гондольер, всегда почти жонглирующий канатоходцем на узкой корме длинным и вправду похожим на шест канатоходца, веслом.

По водам канала плывет женская широкополая шляпа. На миг мне кажется, что это Нимфа, и шляпа покрывает ее волосы. От этого видения у меня самого волосы встают дыбом. Говорят: Ангел смерти. Быть может, это Нимфа смерти, чей желанный ледяной поцелуй высасывает жизнь?

Всё это подозрительно, обезоруживающе, влекуще, всё – в неуловимой стихии хитрости, бесовства, заманивания, стихии, которая неосознанно влечет в этот химерический город толпы людей со всех краев мира.

Предсмертная ветреность подобна ветренности женщины, ее кажущейся пугливой, но столь ловко замаскированной и торжествующей неверности. Солнце уже зашло, но ночь еще не наступила. Распластавшиеся отражениями в канале венецианские дворцы-палаццо с терпеливой усталостью, насчитывающей столетия, ожидают сумерек, чтобы снять с себя

груз опрокинутости вниз этажами и колоннами, жаждут погрузиться в благодатную тьму, стерева себя начисто.

Отдохнув от собственного лицемерия, они готовятся выпорхнуть в ясное утро, отчетливо, умыто, и, окунувшись, как в молодость, в синеву канала Гранде, вновь плыть в отражении вместе с облаками, не сдвигаясь с места.

На площади Святого Марка веселье только начиналось.

Очередной карнавал.

Гогочущие голые женщины бежали мне навстречу, оказавшись вблизи мужчинами, навесившими на себя женские тела из розовой, цвета плоти, пластмассы. Маски, скоморошьи костюмы, шутовские колпаки кружились вокруг, вызывая у одинокого человека недоверчивую улыбку своей кажущейся глупостью. Но удивительно смягчали душу.

Вот они – скачут козлами, взявшись за руки, под звуки губной гармоник, развлекая себя криками, а порой и улюлюканьем, пытаясь таким спонтанным способом сломать барьеры человеческого одиночества, хотя бы на миг, на ночь, вселить надежду на встречу, мимолетность которой может стать начальным знаком новой раскованности, привязанности, любви, одним словом – спасения.

Но внезапно они окружили меня, весело топоча ногами, швырнули в мой раскрытый от удивления рот горсть конфетти. Пришлось, ретировавшись к темной стене, отплеиваться и отряхиваться. С толпой, особенно раскованной и подозрительно веселой, рискованно шутить.

Жизнь. Только выкрестами жива!

Иудами вер!

На прокажённые острова!

В ад! – всюду! – но не в

Жизнь, – только выкрестов терпит, лишь

Овец – палачу!

Право-на-жительство свой лист

Но-гами топчу!

Всего каких-то шестнадцать лет отделяет написание этих строк в еще свободной Праге 1924 года от ада «прокаженных островов» – Аушвица и Бухенвальда.

На площади Святого Марка в ярко расцвеченных обжираловках готовили какое-то новое на этот вечер возлияние и обжорство. Сверкала мишура, горели плошки, пахло ладаном, мгновенно вызывающим память панихид.

Плошки, предназначенные веселить души забвением, скорее напоминали лампы за упокой душ.

Мимо меня прошел человек в парике, камзоле, с тросточкой, удивительно напоминающий Эммануила Канта. Он настолько преувеличенно имитировал сухую педантичность немецкого философа, что за ним в моем воображении мгновенно вырисовались – башенно-головый Гегель, вислоусый Ницше, сладкоулыбчивый Хайдеггер. И всех их объединяло в течение времени весьма неуважительное отношение к моему племени, открывшему миру единого Бога, хотя все они вышли «из шинели» еврея Спинозы, пусть и отлученного от еврейства за свой непозволительный для еврея рационализм.

Взрыв пьяных голосов вокруг столиков пивного бара, разноречье, прерываемое отрывками, тут же вернули меня к реальности. Сидели немецкие бюргеры, французские буржуа, новые русские – пили пиво, трескали раковыми клешнями.

Если бы не разные языки, их можно было бы отнести к единому племени пивососов.

У них одинаково бычи красные шеи, выдающиеся брюха, пальцы почти не отличаются от раковых клешней, и все, весьма агрессивные в массовых действиях, особенно, если напаять на них мундиры, нынче отдыхают, разомлев от безделья, приятной скуки и нулевого напряжения мысли.

И в качестве такой малой мести я представил себе, явно развеселившись, как внезапно катит на них бочки классическая философия, стреляя очередями имен – Спиноза, Кант, Гегель, Ницше, Хайдеггер. «Где ваш Юм», – кричит английский философ Юм. А за ними, сшибая с ног, накатывает весь синклит французских постмодернистов. И некуда от этого сбежать. Остается лишь таращить глаза и волочить неверным бегом свое раздувшееся от пива тело в туалет.

А ведь классическая философия обращалась именно к ним, выкрестам человечества, приспособлялась, сама как бы и не подозревая об этом, к ним, изведя Бога из «божественного».

*Право-на-жительство свой лист
Но-гами топчу!*

*Втаптываю! За Давидов щит —
Месть! – В месиво тел!
Не упоительно ли, что жид
Жить – не захотел?!*

*Гетто избранничеств! Вал и ров.
По-щады не жди!
В сём христианнейшем из миров
Поэты – жидаы!*

Упоительность ухода в смерть – чудовищное изобретение евреев диаспоры в вихре погромов, душегубок, крематориев.

Вал и ров, отделявшие прокаженное племя от остального мира, были обновлены немецкой изобретательностью.

Ров стал местом «месива тел».

Над ним возвели вал.

Иначе бы местные аборигены по всем градам и весям восточной Европы не могли бы ныне быть проводниками потомкам выживших в Катастрофе евреев к местам массовых расстрелов.

В дальнем сумеречном углу гостиничного холла кто-то негромко музицировал на фортепьяно, и венецианские окна, взблескивая стеклами, вместе с мраморными стенами и вазами из стекла мурано, бережно, как бы на взвеси, держали вечную праздничность этих звуков на грани печали и отчуждения от весело шаркающих подошвами и хлопающих дверьми туристов.

Улеглись, стихли последние ближние и дальние звуки, скрипы, шорохи, шепотки, смех.

Абсолютное одиночество в чужом углу мира, напряжение прошедшего дня и особенно вечера не давали уснуть.

Я пересек холл. Портье у стойки, казалось, спал стоя с открытыми глазами, подобно лунатику. В аквариуме холла проплыл человек.

Гостиница была в переулке, но тут же, за углом, всегда неожиданно открывалась площадь Святого Марка. Она была пуста. Редкие парочки на скамьях были недвижны, как манекены.

Есть разница между молчанием, безмолвием и тишиной.

В молчании и безмолвии скрыто живое человеческое присутствие.

Молчи или молви.

Тишина же бывает мертвой.

Последние слова Гамлета в первых переводах: «Остальное – молчание».

Позднее, в классических переводах: «Дальше – тишина».

В этот поздний час почти непереносимого покоя у мертвых – без единой складки – простирающихся во тьму вод я сам, подобно лунатику, вглядывался в замерший звездной скорлупой и желтками фонарей канал между палаццо Дожей и легендарной тюрьмой. Надо мной, в высоте, забыто и бездыханно нависал мост Вздохов. Слабый парок, пахнущий смесью гниющего дерева и распаренной человеческой плоти, стыл над водой: быть может, сбрасывали воды ближайших бань, терм, прачечных?

Вопреки мизерным, по сути, нулевым результатам, стирка человечества продолжалась.

Эту мертвую тишину, присущую, вероятно, лишь венецианской ночи, гениально передал «больной и юный» Блок в 1909 году, простиравшись у Львиного столба:

*...В тени дворцовой галереи
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой.*

*Всё спит – дворцы, каналы, люди,
Лишь призрака скользкий шаг,
Лишь голова на черном блюде
С тоской глядит в окрестный мрак.*

Только в такой мертвой тишине и неподвижности разверзаются вереницей и полную силу «прокаженные острова» – еврейские гетто и лагеря смерти, обернувшиеся чудовищными музеями по всему «окрестному мраку» Европы.

Они подобны лавкам старьевщиков, что годами роются на пожарищах, между задымленных печей бывшего человеческого жилья и крематориев.

Экспонаты? – Бесформенные груды вещей, горы детской обуви, рваные талесы, лапсердаки, книги, обгорелые обрывки священных свитков со следами сапог.

Причудливы слепые нетопыри отпылавших ночей в тех землях, где развеян по ветру и взмошел горькой травой прах шести миллионов.

Тускло-мертвая луна выкатывается из акульей пасти облака.

Такие мертвые луны развешаны над галактическими полостями Галута – словно лампы под колпаком бессилия, беззащитности, внезапных погромов и катастроф.

Астрономия галутского быта со звездами в окне и шагаловской луной над еще не сожженным дымоходом, с течением жизни, устойчивым, как домашний уклад, внезапно опрокидывается лампой, сброшенной вихрем со стола, и растекается пламенем пожарищ.

Пахнет керосином и кровью.

Человеческие жизни сшибленными лампами опрокидываются в снег, в сушь, в гибель.

Бывает день. Разверзшийся. Без дна.

Как день солнцестояния. Поминовения мертвых. Непрерывающихся воспоминаний. Изматывающего воображения. Открытых дверей. Скрытых убийств.

День неутолимой жажды покоя, соскальзывающий в мертвую тишину ночи.

Воспоминание и воображение борются между собой, как два демона, которые не слабее Ангела, боровшегося с Иаковом.

Бывает ночь, за порогом которой особенно ощутимо вставшее в собачью стойку завтра, с нетерпением ожидающее мига, чтобы ворваться в твою жизнь, все грызя и вынюхивая, пустыми заботами, беспричинными тревогами, тяжестью лет и страхом перед гулом набегającego за спиной темного неизъяснимого времени.

В недвижной воде канала я вижу собственное лицо, лица друзей, близких, разбросанных в пространстве и унесенных временем. Я вижу их в свете – ламп юности, сценических рампы, допросов, мимолетных встреч и расставаний на жизнь.

Я вижу их лица.

Желание забыться и надежда на изменение состарили нас.

Я вижу бесконечную цепь ушедших.

На их не растворившихся в вечности губах, ибо еще живы в моей памяти, – непредъявленный счет мне, нам, всем живым.

«Труднее найти лицо, которое легко забыть», – говорил Федерико Феллини.

Мастерами этого дела были гебисты. Поиск на роль стукачей незапоминающихся лиц был их вкладом в гениальную идею лицедейства. Забыв лицо, человек становился жертвой. Смертельный спектакль с забываемыми лицами гулял по Гулагу, которым была одна шестая света. То были два символа гибельной эпохи – забываемые и забиваемые.

Пространство этой «одной шестой», в которой обретался и я, было разделено перегородками на миллионы тесных, вызывающих одышку, кубиков. Перегородки эти свободно пропускали звуки. Но люди затыкали уши, чтобы не слышать стонов и криков истязаемых за стенами. Музыканты играли громче, чем надо, писатели заглушали крики стуком пишущих машинок. Развелось безумное множество духовых оркестров. Они не только сверкали на солнце, как оружие, но и наводили веселую жуть на окружающих.

Все это происходило в одной отдельно взятой стране, в трижды треклятом царстве-государстве, в котором я жил, пиво не пил, был безус, а в рот не попало, ибо не раскрывал его, завидовал слепым и глухим или хотя бы оглушенным, оглашено орущим внутри себя.

И не яблочко-песню, а просто речь человеческую держали они за зубами.

В этой стране господствовали сыновья сапожников и прачек. Время возносило их из самых зловонных низов на самый верх лестницы власти. И люди стояли, немо разинув рты, утопая в бессилии.

А властвующие и косвенно участвующие в преступных истязаниях сыновья сапожников, слесарей, парикмахеров и прачек, владевшие человеческой массой, могущие уничтожить тысячи тысяч без вины виноватых, казалось, державшие пространство и время на ладони, уже совсем обнищав духом, жили за перегородками своих дач. От их голосов, озвучивавших волчьих пасти микрофонов, миллионы впадали в транс и массовый психоз.

Сами же они жили в скудном ограничении собственного тела, в не могущих не остеречь четырехстенных коробках, передвигаясь от стола, на котором подписывали смертные приговоры, в кухню – чего-нибудь пожевать, а оттуда к постели, которая напоминала о последнем пристанище.

Те, души которых жгла правда, и они ее говорили, были выведены «в расход» первыми.

Феномен заключается в том, что в душах этих губителей рода человеческого не было даже малейшей искры искренности, прожигающей время знанием, что убитые ими превратятся в светочей будущего. О них же будут вспоминать с омерзением, отравляющим жизнь их потомкам, ибо такие понятия, как совесть, доброта и человечность, вечны, неуничтожимы, мстительны.

«Зубы Истории коварны, – писал Александр Блок, на себе чувствующий ее пасть, – и проклятия времени не избыть».

И тысячелетиями доказано действие закона, закрепленного Моисеем в пятой книге Торы «Дварим» («Второзаконие») – «ли накам вэ шилэм» – «Мне отмщение и аз воздам».

В этот поздний мертвый час я думал об ответственности законодателей разума, которые, оказывается, ничем не отличались от законодателей мод – на ненависть, справедливость, светлое будущее, окупившиеся морем крови, обернувшиеся преступлением, у которого нет срока давности.

В этот поздний мертвый час ночи у мертвых вод одного из самых эфемерных городов мира – Венеции – я дал себе обет – не подвергаться спасительной болезни амнезии.

Помнить, что над миллионами безвинных душ, забитых и забытых, как колодцы, как соты, окаменевшие горьким медом забвения, еще теплится парок слабой, всё более угасающей, но надежды – на возмездие.

Много ли обетов давал я в своей жизни?

Обет читать про себя, а нередко и в голос, молитву «Кадиш» в дни поминовения родных и близких.

Обет – не думать плохо об окружающих, чтобы для меня не была неожиданной их неприязнь ко мне.

Покидая Совдепию в 1977, после всех переживаний и унижений в предотъездный год, я дал себе зарок, что нога моя не ступит на эту землю. Этот обет я нарушил в 1991, но все годы памятовал об оставшихся там, в покинутом мною мире, дорогих сердцу людях, которые, по словам пророка Ионы, не умеют отличить «правой руки от левой».

И еще помнил один единственный обет, данный мне за тысячи лет до моего прихода в мир: землю, обетованную мне Богом.

В самолете, несущем меня к этой земле, который казался левиафаном из Книги Ионы, я повторял про себя его слова, вбитые в детстве в мою память ребе Пружанским: «Объяли меня воды души моей, бездна заключила меня: морской травой была обвита голова моя. До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада».

И что бы со мной не происходило в любом углу земли, никто у меня не отнимет ответственности переживания при встрече с Иерусалимом, Аялонской долиной, холмом Азека, на котором Давид победил Голиафа, с чудом памяти, хранящей эти места более трех тысячелетий.

Очнулся я от медных ударов.

Слабый ветерок пошевелил мертвые воды лагуны.

И вновь бликом, щепкой, щепоткой памяти всплыли строки того же стихотворения юного Блока, возникшего на этом пятачке, который держится на плаву в памяти человечества итальянским наречием, байронической грустью, блоковским ощущением своей головы, как отрубленной – Иоанна Крестителя:

*Холодный ветер от лагуны.
Гондол безмолвные гроба.
Я в эту ночь – больной и юный —
Простерт у львиного столба.*

*На башне, с песнею чугуновой,
Гиганты бьют полночный час.
Марк уронил в лагуне лунной
Узорный свой иконостас...*

В этот поздний час иконостас казался тусклым и заброшенным, чтобы на утро вновь расцвести в жадных глазах новых толп туристов.

Особенно действуют мне на нервы туристы, наводняющие в эти летние месяцы Венецию, да и сами венецианцы, гордые своим мушиным царством, подобны трутням, живущим за счет отдыхающих с психологией бездельников, калифов на час, заражающих их своей ленью, которую они считают отдыхом.

Поглядите только на сонное обслуживание в кафе и ресторанчиках.

Но этот полюбившийся мне город ни в чем этом не виноват. Ночью, мучаясь бессонницей, я посвятил ему стихи.

Я ощущаю нежно кожей
Венецианский легкий бриз.
Плывут дворцы, курчавясь дожами,
Собой сливая даль и близь.

И берега с ленцой блаженствуют,
И воды тянут, как магнит.
Скользит гондола с хищью женскою
И в глуби темные манит.

Летят архангелы над хорами.
Святые тянутся из рак.
Потусторонний свет соборами
Хранит лампадный полумрак.

Там – карнавал шумит, бесчинствует,
Под масками скрывая страх.
Монашенки четою чинствуют,
И жизнь для них легка, как прах.

Там – возле мостика ажурного —
Такая тишь, такая статъ
Что хочется вздремнуть над урною
И так всю жизнь свою проспять.

Но рынок шумен данью модною —
Тут на прилавках – кровь и слизь —
Пульсирует глубоководная
Апоплексическая жизнь.

Здесь по-простецки ухажорствуют,
И брюха жадные урчат,
Уста горланят и обжорствуют
Вдыхая ресторанный чад.

Венчают вечность здесь венец и яд,
И гибель в четырех стенах.
И гнилью сладостной Венеция
Меня качает на волнах.

На обратном пути в гостиницу на меня явно снизошла с высот удивительная легкость существования, и я замер на несколько мгновений, чтобы до последней мельчайшей капли вобрать в себя эту легкость. Данный мною обет – не подвергаться амнезии – словно бы снял груз последних лет кажущейся осмысленной, а, по сути, бестолковой суеты.

Обет – это раскаяние и покаяние, ибо все мы, пока живы, виноваты перед мертвыми.

Эта невероятная легкость была как мгновенный укол, пронизывающий до запредельных корней жизни.

После чего, добравшись до постели, я погрузился в глубокий сон, казалось, достигающий пульса глубинных рыб и седьмого неба, сладостно раболепствующего под пятой Бога.

Ради таких мгновений стоит приветствовать жизнь, какой бы она ни была.

Встал я до восхода солнца, шел я к вокзалу, на поезд в Рим.

Никакие толпы, даже отдельные существа, не стояли между мной и пустынным, целиком отданным самому себе городом, забвенно грезящим своим химерическим, но прочным родством с молочной размытостью адриатических далей, с летучими каравеллами кучевых, ставших и эту ночь на якорь в лагуне облаков, с ледяными престолами погруженных в вечную дрему вершин

В этот ранний час в церквях и храмах еще бодрствовали ангелы и святые, чтобы с первым лучом солнца раствориться в плоскостях фресок и полотен.

И сам город с первым лучом солнца взлетит фантомом в туманы и облака, всплывет собственным призрачным отражением ввысь и обретет плоскостную, выпавшую в осадок, земную отчетливость, вишневую терпкость цветов своих стен и крыш.

В пустынных палаццо разгуливали демоны и привидения ушедших веков, которых великие художники пытались изо всех сил удержать соблазном линий и красок.

Пытались или пытали? И кисти их подобны были кандалам тюремщиков.

Сколько их тут, ангелов, демонов, святых, грешников, просто людей, осевших среди этих стен, которые кажутся насквозь растворенными морем, далями, опасными грезами, какими бы толстыми кандалы эти стены ни были.

Именно такое летучее – на одни сутки – вторжение в это невероятное пространство только и может всполошить всю эту как бы свыкшуюся с самой собою, утробно слежавшуюся жизнь.

Я шел к вокзалу, останавливаясь и оглядываясь. Купола и колокольни растворялись в туманности морских далей, за приземистым вокзалом, где мигали световые табло, пахло нематыми телами парней и девиц, измотавшихся за время карнавала и спящих вповалку во всех углах зала ожидания.

Запахи сквозили со всех сторон – из туалета, из пространств, пахнущих сладкой гнилью водорослей, напоминающей о мимолетной человеческой плесени рядом с бесконечным морем, хотя плесени этой насчитывалась не одна сотня лет.

Город, одновременно эфемерный и реальный, так потрясший молодого Пастернака, приехавшего из бескрайних степей России и срединной Европы, отчуждался за окнами вокзала, уже покрываясь плесенью забвения.

Станный нездешний звук, напоминающий вибрирующие звуки гавайской гитары, но более мягкие, заставил меня замереть на месте.

Это была мелодия «Атиквы».

Посреди сонного царства, пропахшего потом юных тел, сидел благообразный старик и извлекал мелодию гимна Израиля из гибко изгибающейся... пилы.

Это могло показаться выдумкой, если бы не было правдой.

Это странным образом венчало завершение моего присутствия в Венеции.

И на этот раз при этих звуках ком встал у горла.

Итальянские поезда необычны. То они быстро перебирают, как монахи четки, пролетающие станции, то надолго замирают у какого-то полустанка.

За окном пролетали, как бы пробуждаясь по ходу поезда, – Местре, Доло, Падова или Падуа: собор, утренняя пестрая суeta, репетиция лошадиных гонок.

Монтегротто: зябкая зелень ближних виноградников, зыбкая синева дальних гор.

Баталия: замок с трехъярусным куполом – на горе, красная земля, terra rosa, холмы, вприпрыжку бегущие вдоль дороги, медленно ползущие вдали.

Эсте-Монселиче: замок на огромном утесе, рядом с городком; в центре, на площади, шатровый собор из красного сиенского камня.

Ровиго.

Феррара.

Города мелькали, как стрелки на шахматных часах в блицтурнире.

Идея книги, подобно слабому зародышу, под стук колес и промельк пространств обростала плотью.

Внезапно вспомнились слова одного из выдающихся французских постмодернистов Жюль Делёза: «Актуальное это не то, что мы есть, это, скорее, то, чем мы становимся... Настоящее, напротив, это то, чем мы перестаем быть...»

Жизнь в будущем стояла залогом за каждым убегающим мгновением.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.